



И.И.Глебова

ЛИТЕРАТУРА И ДИКТАТУРА: КУЛЬТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Эссе

Ирина Игоревна Глебова — доктор политических наук, руководитель Центра руссиеведения Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Для связи с автором: glebova.i.i@yandex.ru.

Аннотация. Конец XIX — начало XX в. — рубежное время для России. Эпоха «богоборчества», избавления от прежних богов (авторитетов, ограничений, принуждения и контроля) — в политике, экономике, науке, культуре. В этом смысле лозунг «Долой самодержавие!» — политический эквивалент призыва поэтов «сбросить Пушкина с корабля Современности». Поэты, как и политики, хотели вырваться из прошлого, а для этого убрать его главный стержень — царя, старую власть. Одни намеревались ее переучредить, другие — перепридумать. Политики искали свой идеал в «географии» (политическом устройстве передовой, демократической Европы), поэты — в культуре. И обрели его в Петре I — революционере на троне, демиурге петербургской России. За этим культом, вроде бы органичным для той культуры, скрывались ожидания, которые политически могут быть расшифрованы как «диктатура развития». Именно петровская модель преобразований (радикальный переворот, бросок из прошлого в будущее, во главе — вождь) была принята культурой в качестве нормативной для России. Революция и новый («октябрьский») мир с его апологией будущего, диктаторством, культом вождей стали ответом на поиски начала века, их проверкой.

В статье революция рассматривается именно как опыт, при всей его интенсивности и трагичности все еще недостаточно отрефлексированный, не оказавший никакого влияния на последующую политическую практику. При этом для политологического по своим задачам исследования автор привлекает художественные, по преимуществу поэтические источники, показывая, каким образом революционная практика (причем не только на старте, но и на финише столетия) высвечивает, насколько характерной в политическом и нравственном отношениях была «безответственная болтовня» поэтов.

Ключевые слова: Модерн, богоборчество, революция, культ Петра I, диктатура, развитие, вождизм, творцы, жертвы

Народ поднялся и собрался в дорогу;
но кого-то ждали; ждали вождя, — вождь появился...
С.М.Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом

Все, кто блистал в тринадцатом году, —
Лишь призраки на петербургском льду.
Г.Иванов. Январский день

Революция как вызов

¹ *Fitzpatrick 2017: 817.*

² *См., напр. Булдаков 2018; Минц 2019.*

³ *См., напр. Дворниченко 2018.*

В 2017 г. одна из старейших западных русистов Шейла Фицпатрик констатировала: столетний юбилей революции стал для России «неожиданностью» — ни ученые, ни общество, по существу, «не знают, что о ней сказать»¹. Парадокс: год был наполнен событиями (встречи, разговоры, книги и статьи, выставки и фильмы), а юбилей не состоялся; подведение итогов с точки зрения качественного приращения знаний, анализа последствий, этической оценки разочаровывающее². Россия (как и весь мир) оправилась от потрясения: революция не интересна, кажется далеким прошлым, никак не связанным с сегодняшним днем, сдана в архив. Не случайно 2017 г. назвали прощанием с революцией³.

Попрощались, однако, рано. Именно после юбилея революция вдруг восстала — и не столько в общественной памяти, сколько в политической повестке.

Первой от этой темы вроде бы отказалась власть, демонстративно исключив себя из процесса юбилейной коммеморации. Да, для легитимации нынешнему режиму достаточно Победы; революция только вредит великодержавной образности. Тем не менее режим все-таки нуждается в революции — и в 2017 г., вопреки общепринятому мнению, сделал на этой теме политический капитал.

⁴ *См. Нарышкин 2017.*

Именно власть сформулировала основную идею столетия: революция — это воспоминание (только прошлое). И рекомендовала вспоминать «справедливо и беспристрастно» — стать выше борьбы сторон, не нести в настоящее противоречия и конфликты столетней давности⁴. При этом создала вокруг 1917 г. атмосферу повышенной опасности: «оранжевый» Февраль, «оранжевый» душок Октября. Революция используется против «революции»; 1917 год — своего рода дубина, которой власть крушит саму эту идею. И чем старше становится путинское государство, тем сильнее потребность в таком инструментарии.

Властные страхи кажутся фобиями, фантомами угроз. Нынешнее общество страшно далеко от революции — ни порыва, ни идеи; доминируют агрессивно-послушные настроения. Но и явно накапливается ощущение какой-то неестественной замедленности жизни (пробуксовки, паузы), ее ухудшения, даже бесперспективности («будет только хуже»). В последние годы оно заметно усилилось. Такое самочувствие вызывает соответствующие воспоминания — об идеалах Октября и его устремленности в будущее, об утраченных социальных гарантиях, о самодержавии как о «плохом» правлении. Революция здесь лишь исторический фон

(поставщик образов); отсылки к ней — способ критики власти, «упаковка» для социальных запросов. Однако то, что общество обращается к революции (этой образности), чтобы каталогизировать дефициты, выразить потребности, есть его важная характеристика. Революционная образность — симптоматика общественного раздражения; ее нарастание (при всей метафоричности, аморфности, политической неэффективности подобного типа реакций) — негативный сигнал для режима.

Революция как бы загнана в систему ограничений. С одной стороны, это архив (заповедник для историков), с другой — что-то вроде исторической сноски к современности. В сегодняшний день (в политику, просвещение, массовую культуру) тянут какие-то обрывки воспоминаний, старые (преимущественно еще советские) представления о ней. И работает вся эта мешанина образов в основном отрицательно — ничего не дает для самоанализа, оценки возможных перспектив. Публичные разговоры о революции напоминают заигранную пластинку (глупый и распутный царизм, непутевый Февраль, брутальный большевизм, «большой скачок» 1930-х — прогрессистская, кстати, схема развития, вершина которой — «сталинская модернизация»). Они действительно не актуальны — не различим опыт, который мог бы быть конвертирован в социальную жизнь. А то, что выдается за опыт, туманит, разлагает, тянет назад. В этом смысле революция «обнулена».

В данном тексте революция рассматривается именно как опыт — все еще недостаточно отрефлексированный. При этом делается попытка привлечь для политологического по своим задачам исследования, казалось бы, малопригодные для этого источники — художественные, по преимуществу поэтические. Культура начала прошлого века пронизана идеей переустройства мира; мыслители, художники, поэты, как и политики, искали для страны новую формулу бытия. Революционная практика — причем не только на старте, но и (поразительным образом) на финише столетия — покажет, насколько характерна в политическом и нравственном отношениях безответственная болтовня поэтов.

Эпоха богоборчества

«Специфическая ориентация Нового времени на будущее складывалась по мере того, как общественная модернизация разрушала староевропейское пространство опыта крестьянско-ремесленных жизненных миров; она привела их в движение и обесценила в качестве установок, направляющих ожидания, — отмечал Райнхарт Козеллек. — На место опыта предшествующих поколений приходит опыт прогресса, который придает горизонту ожидания, до тех пор прочно привязанному к прошлому, исторически новое качество постоянной погруженности в утопию»⁵. XX столетие, едва начавшись, привнесло в эту нововременную ориентацию окончательное напряжение. Создалось ощущение, что тут-то история и закончится — прогресс победит⁶.

Тот забытый XX век (до Мировой войны и Революции), что, едва успев заявить о себе, внезапно оборвался, жил перспективами: мечтал,

⁵ *Цит. по: Хабермас 2003: 23.*

⁶ *Интересно, что с аналогичными надеждами был связан и конец столетия — вспомним «футуристический манифест» Фрэнсиса Фукуямы, да и вообще реакцию на крушение коммунизма как мирового проекта.*

изобретал, строил, творил. То была эпоха торжества «фьючеризма» (футуризма) — предельного убыстрения и уплотнения времени, прорывов во всем (науке, искусстве, технологиях, социальной жизни). Столетие требовало радикального обновления (и активизировало всякого рода радикализмы), признавало одну легитимацию — через будущее (образы будущего), противопоставляло традицию и современность (объявив войну традиции/традиционному как отжившему, ненужному препятствию на пути развития).

⁷ См. Лотман 1992.

Юрий Лотман говорил, что русская культура осознает себя в категориях взрыва — реализуется взрывами⁷. Под это определение подпадает и вся европейская культура рубежа XIX—XX вв.: она взрывала наличный мир и творила новый. Высокий статус в футуристической культуре Модерна приобрели новизна (неожиданное, неизведанное), молодость (и младшие поколения), идеи начала, начинания заново — и, следовательно, отрицания, разрушения. Прогрессизм и нигилизм — вот идеология Модерна. Он мыслил утопически (присущий ему идеализм открывал дорогу для разных утопий), переоценивал новизну — гнался за всем новым, не страшаясь неизвестности, не заботясь о цене и последствиях. Социальные катаклизмы XX в. во многом связаны с модернистскими настроениями и культурой, обусловлены ими.

Проводником мировоззрения XX в. явилось у нас общество — образованная, европеизированная, сознательная, политически чувствительная часть социума (петербургская Россия). Оно соответствовало веку, слышало музыку той революции, что он в себе нес, и на этом созвучии строило собственную идентичность. Знамение времени стало полное отчуждение общества от власти. Все (и левые, и правые, и анти-, и просамодержавные) были ею недовольны, пытались ею руководить, ее направлять. У XX столетия была психология революционера — и та же психология была у российского общества. Оно созрело для строительства своего, нового мира — желало стать единственным социальным творцом (преобразователем, революционером), строителем России как Европы (европейцем). И восстало против прежнего творца.

⁸ Бенуа 1908: 100.

В 1908 г. Александр Бенуа писал в «Золотом руне»: «Переживаемая нами эпоха вся поглощена богоборчеством»⁸. Эти слова можно было бы поставить еще одним эпиграфом к данной работе. Богоборчество — вот сцепка искусства, науки, политики и т.д.; вообще точка сборки для новой (сформированной эпохой Освобождения, десятилетиями созидательной работы, борьбы, поражений, творчества, надежд) «петербургской» социальности. Намерение убрать (свергнуть) прежних творцов мы видим тогда везде; в этом культура созвучна политике — они говорили в унисон, об одном.

⁹ Пощечина 1912.

О чем этот знаменитый призыв (вызов) «Пощечины» поэтических авангардистов: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с Парохода Современности»⁹? О власти — старом, износившемся со временем и потому постыдном самодержавии. Самодержавие

здесь и социальная, и художественная (эстетическая) идея; Бог, ограничивающий Творца (художника, ученого, поэта). Место Александра Пушкина (потом Федора Достоевского, Льва Толстого) в русской культуре («солнце»/«наше все») подобно положению царя во властно-социальном пространстве. Это — боги; чтобы рвануть вперед, в Современность, от них следовало избавиться. Новые люди XX в., новая Россия рождались в борьбе со старыми богами (в политике, экономике, науке, культуре) — и в конечном счете с Богом как некоей внешней, ограничивающей их идеей. Творчество не имеет ограничений, творец — вот Бог XX столетия.

Политика, появившаяся в стране в 1905 г., стала (вслед за культурой) полем этой борьбы. Новые политические силы (Россия, которая хотела и могла быть политической) при всем их разнообразии (а потому несовпадениях, конфликтах и противоречиях) были так же одержимы идеей антисамодержавной, демократической революции, как художники своим творчеством. И они, томимые тоской по идеалу/идеальному, страстно искали последней красоты, последней правды. Идея революции — нерв русской политики; здесь разрыв между старым и новым мыслился таким же грандиозным, как и в культуре Модерна. Для общественников/общества это произведение, акт творчества (проект, как сейчас принято говорить). Замышляя (умышляя) свою революцию, они не только, а быть может, и не столько руководствовались впечатлениями реальной жизни, сколько подчинялись законам проектирования.

Отрицание самодержавия как идеи и практики одинаково характерно для политики и культуры той эпохи. Несколько утрируя, можно сказать, что это и есть русский Модерн. Он сверг эту власть с той высоты, на которой она исторически стояла, — критикой и невниманием, борьбой и непризнанием. В смысле эстетическом, этическом она пала гораздо раньше, чем в политико-правовом. В современной культуре это власть, которой не было: она пережила себя, лишилась потенциала развития, ей не место на «пароходе Современности», она должна уйти. Нужны новые люди, философия, язык, стилистика — власть нового типа.

И если политика была занята поиском новых технологий властвования, то в мире художественном пытались найти новую образность власти, вдохновляющие идеалы. Конечно, о «физике» властной перемены можно было говорить лишь предположительно, интуитивно, почти бессознательно (хотя и эти фантазии художников на политические темы интересны — как симптоматика). Что же касается «метафизики», то здесь культура не ошибается в выборе ориентиров. И то, что на ее идеальном горизонте возник тогда Петр I, скорее закономерность. Эпоха богоборчества не могла не актуализировать одного из главных «богоборцев» (ниспровергателей, бескомпромиссных борцов с традицией) в русской истории.

**Петр
как предчувствие**

Петр не просто историческая сноска (комментарий) к главному конфликту начала XX в. (конфликту между старой властью и новыми социальными силами), но его фундамент, метафизическое основание. У этого образа двойная нагрузка: общественный аргумент против самодержавия (тот высокий образец, которому оно должно, но уже не способно соответствовать) и манифестация общества. Иначе говоря, Петр-XX — не мир, но война; он не примиряет, а разделяет — на петровцев, новаторов и творцов, и антипетровцев, предавших дело «родоначальника». Общество-петровец как истинный наследник присваивает Петра — символ, память, наследие; заявляет о своем монопольном праве на петербургскую традицию, о намерении «выписать» из Петербурга «антипетровское самодержавие». Так, через апелляцию к Петру, творцы XX в. обосновывали свое право на богоборчество.

Особенно острым это ощущение — «мы петровцы» — стало в августе 1914 г., когда Петербург вдруг превратился в Петроград. Пожалуй, лучше всего его выразил Бенуа, что вполне закономерно — это один из творцов и пропагандистов нового петербургского культа. Он оценил эту перемену по высшей мере — как наше первое серьезное поражение в войне, как попытку не просто «омоскочить» имя столицы, но извратить самую идею Петра (подменить сущность).

Петербург для Бенуа — «не мираж, не призрак» (не «мнимость», как у Достоевского), а полная и высокая действительность: «город-памятник, город-крепость, город-мастерская, город-университет», «рожденный ударом волшебного жезла» (дерзкий замысел — всему вопреки — и в этом смысле явление почти иррациональное)¹⁰. Потому выбор между Петербургом и Петроградом — и впрямь выбор по высшему счету. «Это вся история России, все ее будущее, весь ее исторический смысл: «свободная творческая воля» или «рабская покорность», «движение вперед, вширь, в мир» или «замкнутость китайской стеной», «вселенность» или «местность», «столичность» или «провинциализм»¹¹. Бенуа выбирает Петра — «великого строителя вселенской России, революционной России, России мирового гражданства, России щедрого труда и просвещенного подвига»¹². И клеймит «недостойного, жалкого наследника», умыслившего опровергнуть петровский замысел, посягнувшего на эту великую идею — Петербург.

Конечно, исторический Петр не был таким, каким его рисовал Бенуа. Это *эстетическое* (не реалистическое) прочтение истории — не Петр, а идея Петра, взятая из петербургской культуры (выражение ее духа). То новое, что и станет знаменем петербургской революции (общества — против власти); Николай II с его Петроградом — «темное прошлое», которое она уничтожит (свергнет). Опубликовав свой военный опус в марте 1917 г. в кадетской «Речи» (газете победителей), Бенуа с уверенностью заявлял, что в том «оздоровлении мысли и чувства России», которое принесла революция (что и есть революция), Петербургу будет принадлежать первая роль. Иначе говоря, между идеей Петербурга (идеей Петра — как он ее видел) и идеей Февраля ставился знак равенства.

¹⁰ Бенуа 1917.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кем бы ты ни был,
Город — вымысел твой...

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил...

¹³ Б. Пастернак.
Цикл «Петербург»
(1915).

¹⁴ Быков 2007: 124.

¹⁵ *Предошущение
конца, по общепри-
нятому мнению, ей
якобы свойствен-
ное, — это напря-
женное ожидание
будущего, большой
перестройки, осо-
бенно заметное
у творцов.*

А это о Петре и его творении — Борис Пастернак¹³. В книге о поэте Дмитрий Быков называет «Петербург» «мрачным триптихом», за образом Петра видит восхищение и страх автора¹⁴. Но нет; в этой серии зарисовок (стихотворном впечатлении от поездки в столицу) — ни тени мрачности (хотя это реакция уже на военный город) или страха. Эти стихи полны энергии, оптимизма, свежести, как и вся та эпоха¹⁵. Пастернак — москвич, из молодых (ему — 25, «мирискусники» для него не вполне свои, уже прошлое), а интонация та же, что у Бенуа, — тоже петровец:

Он тучами был, как делами, завален,
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалась царская ярость <...>

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи¹⁶.

¹⁶ Б. Пастернак.
Цикл «Петербург»
(1915).

Вот она, идеальная власть для творцов русского XX в. (они создали себе власть — сотворили, как Петр свой город): захвачена трудом — «умышляет» столицу, другую страну, нового человека. Занята только этим; Петр и вправду венчан на своей России (в блоковском смысле) — вся его энергия направлена только сюда. Он не ждет новых времен — сам ломает время (вторгается в него, разворачивает — как русло реки). Петр у Пастернака — явление революционное (по-человечески и властно); ему тесны прошлое, любые ограничительные рамки. Петр — то, что «поверх барьеров»:

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осоке!¹⁷

¹⁷ Там же.

Таков же Петр на знаменитом полотне Валентина Серова (1907): рвется вперед, сквозь ветер, весь в движении (в этом его суть, его дар; его Россия — движение во времени, прорыв в историю), один — хоть и окружен людьми (они не в счет; никто ему не соразмерен, не «со-масштабен»); он выше всех — сверх человеческой нормы, не обычный, не «нормален»). И, кажется, тоже, как у Пастернака, — на фоне марта. Оба, и художник, и поэт, иррационально точны («угадали») — за Петром маячит призрак мартовской (их, петербургской) революции.

Для общества начала XX в., устремленного в Современность, символ его России — Петр, потому что он — поверх барьеров. «Что до самодержавия, — мы, художники, конечно, знаем, какой вместимости разбился сосуд для гениальной силы, — писал Вячеслав Иванов Валерию Брюсову, 24 октября 1905 г. в связи с появлением Манифеста, воспринятого им (и справедливо) как конец самодержавия. — Но ведь наш Петр не только Первый, но и единственный. Уже давно самодержавие — „личина пустоты“¹⁸, маска, из-за которой искаженно и хрипло говорит не личность, а чужая воля»¹⁸. Петр, как никто, близок тем творцам, тоже одержимым желанием «преступить», порвать все путы, готовым поразить мир, «догнать и перегнать» (экономически, культурно, политически) Европу/Америку. Это точно выстроенная родословная, естественный, понятный выбор. И в то же время странный, даже пугающий.

Пастернаковская «ода» Петру на удивление созвучна «Разговору с товарищем Лениным» Владимира Маяковского. Творец не просто восхищен другим творцом — он чувствует в Петре завораживающую магию власти, покорен ее величием (не масштабом личности, но масштабом власти). Такого властителя можно принять — его деспотизм искупается творчеством. Ему хочется покориться (быть простым подмастерьем, винтиком) — от него веет силой, в нем источник социальной энергии.

В общественном культе Петра неожиданно прорывается та нотка романтизации подчинения (*при-* и *под*властности), которую в тогдашнем обществе трудно предположить. Ведь быть против «самодержавия» (сверхвласти, тирании, всевластия одного — такого способа властвовать) — его принципиальная позиция. Тем не менее — Петр. Это нечто большее, чем художественный образ; это запрос — на революцию сверху (при том что Россия XX в. уже знала другие революции), на «диктатуру развития» (крутую модернизацию с крутым модернизатором)¹⁹.

Поразительно, что *именно они*, творцы-богоборцы XX в., и ждали (звали) Власть-Творца. Поразительно и то, *кого* выбрали в образцы (ставили в пример). Что такое Петр? Это не европейский, а новоордынский порядок; его орудия — дыба (пытка), крепостное право (эти — наиболее эффективные, поэтому они в основе системы, ее *суть*), его муза — война. Петр — тот, кто оторвет голову любому оппоненту, всему самостоятельному, от него независимому (то есть обществу)²⁰. При нем не может быть общества — только инструменты в его мастерской, которая — вся Россия. И мастерит он не Европу, а свой мир: соединение крепостного, военно-полицейского порядка с Немецкой слободой — европейской образностью/внешностью, современными

¹⁸ *Серебряный век* 2019: 27.

¹⁹ Термин «диктатура развития» применяется здесь не в точном (исторически и политологически) значении, но как метафора, чтобы подчеркнуть: «Петр» Бенуа/Пастернака/Серова — не воспоминания (рефрен образности пушкинских времен), а ожидания, прототип революционного вождя, который вскоре явится.

²⁰ См. Пивоваров 2018.

технологиями. В этом смысле общественный выбор (мы — петровцы) был самоубийственным.

Но тогда — почему? Дело, вероятно, все-таки во времени: оно направляет, диктует ориентиры. Тираноборчество (понимание всего ужаса диктатур, диктаторов, диктаторства, постоянная борьба с любыми социальными движениями в эту сторону) — вывод из XX в. Нам теперь, в XXI столетии, особенно понятно, как сложно бороться с этим чудовищем — самодержавием/самовластием/деспотией. Что здесь недостаточно одного только политического и социально-экономического инструментария — необходим демонтаж культа Петра (а также Грозного как его предтечи и опоры, власти более дикой, лютой, архаической и демонической, средневековой — в культурном значении этого слова). Это было необходимо и тогда — чтобы потом не появился культ Иосифа Сталина (и вообще не появлялся «сталин»). И творчество, как бы ни абсолютизировали его творцы, все же служит гуманизации наличной социальности, преодолению и диктатуры, и хаоса (всего первобытного, иррационального, тех темных социальных энергий, что внеположны культуре).

Но в те годы никто не знал, что будет потом; тогда довели другие необходимости. Для «людей „первого необыкновенного десятилетия“» прошлого века (это Владимир Набоков в «Других берегах», причем без идеализации: тогда «фантастически перемешивались новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством»²¹) важнее всего развитие, экспансия; в этом нерв времени. Главными «болезнями» той России считали все, что этому препятствует («темноту»/историческую отсталость/«старый порядок»). Петр — своего рода инструмент их преодоления, метафора высоких замыслов, больших целей.

Те творцы — вообще петровцы по «рождению», по принадлежности к петербургской культуре, которая задолго до них подняла Петра на невиданные высоты и при этом укротила, подработала под себя. Наследники лишь продолжили дело. Исторический Петр не то чтобы никого не интересовал; *эти* «птенцы» хорошо знали, как он далек от сотворенного ими идеала. «Руководящее и направляющее» значение имели для них знаменитые пушкинские «Стансы» (1826):

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой <...>

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье...

²¹ Набоков 1990: 14.

Да, в пушкинском Петре присутствует тираническое начало, но этому есть оправдание/искупление: Петербург. И — Пушкин.

Конечно, в начале XX в. были и те, кто прошел мимо петровской темы (как Иван Бунин, например), и ярые антипетровцы («Антихрист: Петр и Алексей» Дмитрия Мережковского в одну силу с теми проклятиями, что слали этому «мореплавателю и плотнику» все жертвы его «славных дел», отверженные — гонителю). Причем и равнодушные, и ниспровергатели тоже определяли эпоху. Однако ее атмосфера в целом петровская. У того времени с Петром один масштаб (сверх всякой нормы), одна «лихорадка» (творить!). Тогда, как никогда прежде, нужен был не Петр-тиран, а Петр-титан. Поэтому творцы и взяли Петра в свой (новый) Петербург, отдали ему все лучшее, что было в петербургской монархии (реформационно-революционное, просвещенческое), списав все худшее (самодержавно-деспотическое) на современных им властителей.

«Культура взрыва» не нашла для идеи развития другой образности, метафорики. Не разрешила того противоречия, на которое наталкивался каждый петровец: оправдан ли (а значит, допустим ли) Петр (это тема целей и средств, жертв и палачества). Точнее, разрешила по-пушкински — в свою пользу. Путь в новый (XX столетия) мир мыслился (воображался) по петровскому сценарию: разрыв, революция. Однако преобразовать Россию должен был «их» Петр, «неутомим и тверд», — творец-деспот, чей деспотизм все же как-то умерен, не разнуздан (вообще второстепенен, хотя и подразумевается как некая неизбежность). Видимо, Власть (именно так, с заглавной) — слишком сильный аргумент для русского сознания (окончательный, побивающий все другие). А уж если, тираня, она еще и созидает (берет Россию в проработку), то признать ее (увидеть в ней лучшее, пропагандировать) готов и интеллигентский ум.

**Революция
как выбор:
творцы —
за «диктатуру
развития»?**

1917 г. стал исторической проверкой современных поисков, предвестий, потребностей. Метафизика культуры столкнулась с физикой революции — и забуксовала. История, с одной стороны, раздувала в ней богоборческий пафос, с другой, ставила ее самое (цели, оправданность, достижения) под вопрос. Проблему, а возможна ли «диктатура развития» (нуждается ли Россия XX века в пришествии «нового Петра»), революция предъявила как центральную. Дала разные варианты решения — выбирай.

Февраль явился двойным искушением для нового (модерного) российского человека (человека этого склада, этой культуры). Сверг «старых богов», снес все запреты, распахнул для страны двери в XX столетие. Показал, как сладко творчество без ограничений, — у творцов закружились головы. И сразу сдал — не смог экспансировать; все его творчество (весь его новый мир) оказалось фикцией. Февральская власть была слишком общественной, чтобы быть властной, и совершенно не умела править (не управлять, хотя и это оказалось непросто, а именно править — в петровском смысле, с «кулаком», с «грозой», со

²² Гайда 2003: 312.

способностью подчинять). Правда, свалив монархию, Временное правительство сосредоточило в руках всю власть (все «ветви» сплелись в этой институции)²². Вышло что-то вроде коллективного царя (и уже без Думы). Все-таки нельзя совсем убежать от традиции, полностью избавиться от ее давления. Однако дальше дело не пошло — не может диктаторствовать «петербургская» демократия.

²³ Февраль разочаровал всех на десятилетия вперед. «Россией пыталось управлять мультяшное временное правительство, основным властным ресурсом которого были „понты“» (Пастухов 2021), — вот квинтэссенция этого отношения.

Если сравнить Февраль с другими европейскими революциями, можно сказать, что он в общем ряду («локомотивы истории») и в то же время стоит особняком. Не из-за бездарности, которую ему обычно ставят в упрек²³, — из-за победившего идеализма. Эта идеалистическая линия была в нем выражена ярче, настойчивее, определеннее, чем где-либо еще. Русский Февраль поставил *средства* выше *целей* — потому проиграл. Петровские неумолимая жестокость в творчестве, самодержавное тиранство оказались с ним несовместимы.

²⁴ Пастернак 2004: 50.

²⁵ Наблюдение Юрия Пивоварова.

Эта революция — за «Петербург», а тем самым — против тирании, всевластия. Иначе говоря, она — за Петра (того, которого создала русская постпетровская культура, творца России-Европы) и вместе с тем против Петра (преображенского мучителя, крепостника, переводившего людей без счета). Февраль выбросил наверх Александра Керенского — трудно найти человека, более далекого от петровского деспотизма, чем он. Вспоминая о России 1900—1910-х годов, Пастернак писал: «Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами»²⁴. Это и о Керенском. Его язык, тип поведения (эксцентрический, а отчасти даже истерический) — из нового искусства. Манерность Керенского-1917 — как у героев немого кино²⁵, нового театра (не МХТ, а мейерхольдовского, революционного), его стилистика — концертная, зрелищная (площадная), политический акционизм сродни художественному. Политические кумиры были подобны кумирам культурным (повелителям сцены), сделаны из одного материала, производили эффекты, на которые была падка их публика. Керенский в той же мере, что и Игорь Северянин, ее отражение, ее зеркало.

²⁶ Колоницкий 2017.

Такой даже из самосохранения не станет стрелять, подавлять, властвовать по-петровски. Известно, что знаменитая поза Керенского (рука за обшлагом полувоенного френча, по-наполеоновски) — не позерство или не только оно. В Кронштадте в майские дни 1917 г. ему так часто и от души жали руку, что он вынужден был обратиться к врачу, а потом таким образом придерживать ее (держат в покое). Вот она, февральская власть: играет в «наполеона» и с готовностью протягивает руку народу. А народ не товариществует и не благодушествует — чувствует, что власть в его руках, может руку-то и оторвать. Если Петр — это гражданская война (или/или), то Керенский — компромисс (и/и)²⁶. Этот тип (человеческий, политический) совершенно не соответствует ситуации гражданской войны. Не случайно его в ней нет (как и большинства февралистов — это уже не их время). В этой связанности «Петербургом» поражение, но и победа Февраля. В революции, делавшей ставку на человека, не было места торжествующей власти (Петру).

Февраль не смог преступить — в последнем, окончательном значении этого слова: перемолоть всё и вся, что мешало строительству Февральской России. Его ограничителем стал человек — не в том смысле, что мешал намерениям (хотя он мешал — он-то и был главной помехой), а в том, что для реализации целей на него следовало смотреть как на абстракцию — не жалеть, окоротить, использовать, терроризировать. Это не февралистский взгляд — для этого требовались другие люди, с иными ценностями, идентичностями, с другой историей. Обнаружилось, что петербургская культура, вполне созревшая, состоявшаяся, не выращивала тиранов — ее плодом могла стать только «бархатная революция». А тот самый человек, которого февралисты не бросили в топку своей истории, презирал их — за слабость. Вдруг вспомнил о «петровском кулаке» (революция должна защищаться), качнулся к «диктатуре развития» (и даже просто к диктатуре — чтобы остановить развал, прекратить бардак, почувствовать властное во власти).

А вот пришедшие на смену Февралю большевики оказались готовы на все. Их ничто (ни Петербург, ни культура, ни прежние связи и дружбы) не останавливало, гуманистические слабости они презирали. В них сразу почувствовалась петровская суть — не та, которой Петра наделила постпетровская культура, а подлинная, тираническая, антипетербургская. Они были безжалостны — страну опалило дыхание диктатуры.

Пожалуй, определеннее всех на их явление ответили Осип Мандельштам и Марина Цветаева.

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин <...>

...Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!²⁷

²⁷ О. Мандельштам.
«Когда октябрьский нам готовил
временщик...»
(1917).

Такова реакция Мандельштама на падение Керенского (конец Февраля). Здесь речь идет о петербургском Петре (о Петре «славных дней») — и о них, петербуржцах как социокультурном явлении. Все люди той культуры — «щенки Петровы»; «вязать его» — против них всех. За ними пришли наследники исторического Петра — мрачного, с казнями. Петербургская Россия закончилась.

Мандельштаму, по существу, созвучна Цветаева:

Вся жизнь твоя — в едином крике:
— На дедов — за сынов!
Нет, Государь Распровеликий,
Распорядитель снов,

Не на своих сынов работал, —
Бесам на торжество! <...>

Не ладил бы, лба не подьемля,
Ребячьих кораблѐв —
Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов. <...>

Соль высолил, измылил мыльце —
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

Но нет! Конец твоим затеям!
У брата есть — сестра...
На Интернационал — за терем!
За Софью — на Петра!²⁸

²⁸ М. Цветаева.
«Петру» (1920).

Поразительный выбор для самой яркой модернистки начала XX в. — за «старый мир». Однако Цветаева здесь точна, не художественно, а исторически: большевистская революция высветила всю модерность «старого мира» — и прошла по ней сапогом, раздавила. Ее голос — это голос жертвы; она и числила себя жертвой (и была ею); таков весь ее послеоктябрьский путь — без просветов. Это роднит ее с Мандельштамом и Анной Ахматовой. Они так и остались голосом жертв и стойко держались этого выбора: против диктатуры, тирании. Зафиксировали свою внеположность всему этому и человечески, и поэтически. И сполна за этот выбор заплатили.

В то же время цветаевское слово — зов к сопротивлению. Петербургский ответ (в культурном — не географическом смысле): «на Петра!» Своей бескомпромиссностью (однозначностью выбора) оно резко отличается от другого, не менее, а, может быть, и более известного высказывания — волошинского. Казалось бы, и здесь все точно — куда уж яснее:

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опречь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею...²⁹

²⁹ М. Волошин.
«Россия» (1924).

Большевизм у Максимилиана Волошина — новое (по-новому страшное) самодержавие, новое пришествие Петра-деспота. Его наследие вовсе не просвещенный труд: волошинский Петербург — полная противоположность тому образу, что восторжествовал в петербургской

культуре, в столице победившего Февраля. Это город гражданской войны — горячий, безжалостный к человеку. И говорится о нем без жалости:

Я нес в себе — багровый, как гнойник,
Горячий и триумфальный город,
Построенный на трупах, на костях
«Всея Руси» — во мраке финских топей <...>
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра...³⁰

³⁰ Там же. Но вот совсем другие слова о том же городе, том же времени — мандельштамовские: «Чудовищный корабль на страшной высоте / Несется, крылья расправляет... / Зеленая звезда, — в прекрасной нищете / Твой брат, Петрополь, умирает!» («На страшной высоте блуждающий огонь», 1918). Это — истинный петровец, в петербургском значении этого слова; он не предаст свой город. О Петербурге — только с любовью: это плач о той жизни, что ушла, не продолжилась в постреволюционном ХХ в. Петербург у Мандельштама звучит и потом; возникает не как воспоминание, а как настоящее — параллельное той страшной реальности, в которую тот попал.

³¹ М. Волошин. «Россия» (1924).

³² Там же.

³³ Там же.

На этом, однако, определенность у Волошина не то чтобы заканчивается, но как-то замазывается. Деспотизм — и новый, ХХ столетия, и петровский — теряет свою уникальность, тонет в общей цепи «темных веков», к которым сводится вся русская история («И нет истории темней, страшней, / Безумней, чем история России»³¹). Ее алгоритм однообразен; это не история даже — движение вне времени, вопреки времени. Волошин как бы подгоняет ее под большевизм, пишет на полях этой революции, делает простой сноской к ней. В этой безумной круговерти казней и застенков неоткуда взяться Февралю (он попросту запрограммирован на поражение); всё («книголюбивый новиковский дух», «горячка и озноб Виссариона», «русские грамоты на благородство», Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев, чаяния свободы) тонет в петровской колее:

Грядущее — извечный сон корней:
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают старый ил
И новизны рыгают стариною.
Мы не вольны в наследии отцов,
И, вопреки бичам идеологий,
Колеса вязнут в старой колее...³²

А сам Петр на этом страшном фоне вдруг неожиданно поднимается:

Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови,
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином,
Размах столицы был не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя...³³

Волошинский Петр оказывается выше и города, и истории: безумен гневом, но велик; знает, в чем «правда», — к ней и ведет, чрез казни

и застенки. Так куда же — за ним? Уверовать в его правду? Она у него хотя бы есть (есть?).

В до- и предреволюционной культуре была слишком сильна установка: все искупается творчеством. Она так напряженно ждала нового мира, так верила, что он родится из взрыва, что ей показалось: творцы пришли. В комиссарах в кожанках (кстати, из царских еще времен) многие увидели петровское несгибаемое намерение творить. А то, что они с маузерами, — значит, все всерьез; это сила, без которой власть ничто (мякотелый феврализм). И, наконец, за ними народ. Поэтому и примерялась к ним та мерка, с которой Пушкин подошел к Петру («начало славных дней»). А вот Мандельштам — о прощании с Лениным: «революция... вот самая великая твоя очередь», это «лицо самой России», «и мертвый — он самый живой»³⁴. И это всего через шесть с небольшим лет после его гимна Керенскому.

³⁴ Мандельштам
1924.

Однако лучше всего о «титаническом» (не омраченном казнями и застенками) в вожде Октября сказал, пожалуй, Пастернак:

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет³⁵.

³⁵ Б. Пастернак.
«Высокая болезнь»
(1923/1928).

Ленин — вот голая суть революции («Корпуса его изгиб / Дышал полетом голой сути...»³⁶). За этот образ коммунистический Октябрь должен быть вечно признателен поэту. (Не в этом ли причина, одна из причин, сталинской «слабости» к Пастернаку?) Ленин здесь подобен Петру — через него передается движение истории, он знает «предназначение»:

³⁶ Там же.

Когда он обращался к фактам,
То знал, что полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет,
И вот хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной³⁷.

³⁷ Там же.

Этот Ленин даже больше Петра: он замыслил невиданный мир для миллионов. Что может быть выше, дерзостнее такого замысла?! Что может быть сильнее той власти, которая увлекла за собой «тьмы, и тьмы, и тьмы», заставила их бредить своим новым миром?! После

пастернаковского Ленина Петр — уже только исторический эскиз, воспоминание, заготовка. После Ленина можно говорить только о Ленине. Творцы отдают должное творцу, хотя бы причастны творчеству (по-пастернаковски: «...я — часть великого / Перемещенья сроков»³⁸).

³⁸ Б. Пастернак.
«Лейтенант
Шмидт»
(1926—1927).

Многие мастера, оставшиеся в Советской России, пережили (восхищенное) увлечение Лениным, Львом Троцким и другими вождями революции, потом Сталиным (этим — с затаенным, почти животным страхом). Попали под гипноз «большой переделки», «великого обновления». Грандиозный строительный эксперимент действительно захватывал. Гипнотизировало все — и процесс «коренной ломки» (и то, что рубили исторический русский «лес», и то, сколько «щепок» летело в топку советского паровоза), и страшная сила власти. Вот только наблюдать все это лучше всего было извне — из соображений безопасности. А они-то были внутри.

...На подъеме сталинских «славных дней» одному из них вдруг вспомнились пушкинские «Стансы»:

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик,
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья³⁹.

³⁹ Б. Пастернак.
«Столетье с лишним — не вчера...»
(1931).

Здесь речь совсем не о титанах и их революциях — наконец *о себе*: что делать в ситуации, когда выбора уже не осталось, когда на дворе «эра» казней.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели⁴⁰.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Не окончен, первые две книги опубликованы в 1934 г. Переиздавался в СССР почти 100 раз.

⁴² Вышедший на экраны в 1937—1938 гг., этот фильм послужил историческим фоном к большому террору: чтобы массы понимали, как глубоко в историю уходят корни всяческих «измен», как тяжок труд вождей — осуществлять «правду на земле».

Путь один — попытаться как-то выжить. Параллели не утешают — это самоуговаривание. Когда диктатура распространяется, как эпидемия, в ходу только элементарные способы самозащиты (карантин, самоизоляция). Творец загнан, он ищет спасения — худший результат революции, которая должна была спасти мир.

А вот Петр в ней остался победно — как историческое платье диктатуры (маска для диктатора) и образец. Попал в сталинский «соцказ»: роман Алексея Толстого⁴¹, фильм Владимира Петрова с Николаем Симоновым в главной роли⁴²... Петр 1930-х годов вписан в сталинское дело — петербургская образность, присвоенная и адаптированная для восприятия миллионов, шла «в пакете» с «врагами». Петровский культ продолжился в советской культуре и после Сталина, стал ее важной частью. Утратив контекст (связь с диктатурой), он перестал пугать — весь ушел в «славные дни» (на них сосредоточен). «Враги» отодвинулись на периферию (как бы про запас) — теперь на них снова есть спрос.

* * *

Русская революция убедительно доказала, что «диктатура развития» (демократическая диктатура) — только художественный образ, политическая идея (утопия); в социальной жизни она не реализуема. Диктатура — всегда всерьез: мрачит, грозит, казнит. Она несовместима с теми силами, которые могут быть источниками развития. Даже нуждаясь в них (чтобы строить свой мир), она их уничтожает — как инаковое, ей внеположное, от нее независимое. И при этом последовательно взращивает, усиливает в социальном организме, в культуре диктаторские начала (тягу диктаторствовать, надежды на Власть как всепобеждающую, «спасительную» силу). Это ее наследие живет десятилетиями — всегда готово восстать.

Однако это доказательство (этот опыт) российским сознанием (прежде всего либеральным, демократическим) не было принято, не стало ограничителем для политической практики.

На рубеже 1980—1990-х годов, когда страна пыталась попрощаться с советской тоталитарщиной (подвести итог эксперименту, «закрыть» XX век), в политическом мейнстриме вновь возник «петровский морок». Многие чуткие аналитики отмечают: никто тогда не думал о создании механизмов защиты от возможной регенерации тоталитарных институтов, все надеялись на авторитарного «демократического» лидера («хозяина»), который, нейтрализуя и подавляя сопротивление коммунистов и консерваторов, проведет революцию сверху. Потом, почти десятилетие спустя, возник спрос на спасателя другого рода — не революционера, а стабилизатора. Переходный режим, способный дисциплинировать общество, консолидировать демократические начала (воспитательная диктатура / мягкий полицеизм / либеральное охранительство), — странное ожидание для демократов.

Несколько утрируя, можно сказать, что Россия и теперь во власти Петра. Он в очередной раз победил — сначала как идея (пушкинско-пастернаковская образность), потом как практика (та, что «в начале»).

Видимо, российское общество еще не совсем растратило свой «мортальный» потенциал, не устало расплачиваться за «плохой» выбор (за приверженность петровской модели преобразования страны: впереди вождь, и он знает, куда вести). Так что же, новый счет впереди — или все-таки инстинкт самосохранения окажется сильнее традиционных фантазий, нетерпения одних и безразличия других, какой-то прямо-таки непреодолимой национальной склонности к поискам в верхах поводыря (чтобы сбросить ответственность — освободиться от бремени субъектности)?

Библиография

- Бенуа А. (1908) «Ответ Философову (по поводу статьи Философова в „Золотом руне“, 1908, № 1)» // *Золотое руно*, № 3—4: 99—103.
- Бенуа А. (1917) «Петербург или Петроград» // *Речь*, 25.03.
- Булдаков В.П. (2018) «Революция или смута, стабильность или застой? К итогам столетних недоумений» // *Труды по руссиеведению*. Вып. 7. М.: ИНИОН РАН: 23—47.
- Быков Д. (2007) *Борис Пастернак*. М.: Молодая гвардия. URL: https://imwerden.de/pdf/bykov_pasternak_2007__ocr.pdf (проверено 23.12.2021).
- Гайда Ф. (2003) *Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.)*. М.: РОССПЭН.
- Дворниченко А.Ю. (2018) *Прощание с революцией*. М.: Весь Мир.
- Колоницкий Б.И. (2017) *Товарищ Керенский: Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март-июнь 1917 г.)*. М.: Новое литературное обозрение.
- Лотман Ю.М. (1992) *Культура и взрыв*. М.: Гнозис. URL: https://imwerden.de/pdf/lotman_kultura_i_vzryv_1992__ocr.pdf (проверено 23.12.2021).
- Мандельштам О. (1924) «Прибой у гроба» // *На вахте*, 26.01.
- Минц М.М. (2019) «Столетие революций 1917 г. и российская историческая наука (Обзор)» // *Руссиеведение: В поисках утраченного времени*. М.: ИНИОН РАН: 180—209. URL: http://inion.ru/site/assets/files/5377/2019_snt_rossievedenie.pdf (проверено 03.09.2021).
- Нарышкин С. (2017) «Юбилей — повод для серьезной работы» // *Воронцово поле: Вестник фонда «История Отечества»*, № 1: 17—19.
- Набоков В. (1990) «Другие берега» // Набоков В. *Terra incognita*. М.: ДЭМ: 3—178. URL: https://imwerden.de/pdf/nabokov_terra_incognita_drugie_berega_zashchita_luzhina_1990__ocr.pdf (проверено 23.12.2021).
- Пастернак Б. (2004) *Темы и вариации: Стихотворения, роман в стихах*. СПб.: Азбука-классика.
- Пастухов В. (2021) «„Столыпинский галстук“ вместо „зубатовщины“: Готов ли Навальный к новым правилам игры?» // *Эхо Москвы*, 17.01. URL: https://echo.msk.ru/blog/pastuhov_v_/2775156-echo/ (проверено 03.09.2021).
- Пивоваров Ю.С. (2018) «Металлический всадник» // *Труды по руссиеведению*. Вып. 7. М.: ИНИОН РАН: 257—261.

- Пощечина общественному вкусу.* (1912) М.: Издание Г.Л.Кузьмина.
Серебряный век: Письма и стихи. (2019) М.: АСТ.
Хабермас Ю. (2003) *Философский дискурс о модерне.* М.: Весь Мир.
Fitzpatrick S. (2017) «Celebrating (or Not) the Russian Revolution» // *Journal of Contemporary History*, vol. 52, no. 4: 816— 831.



I.I.Glebova
**LITERATURE AND DICTATORSHIP:
CULTURE OF THE BEGINNING
OF THE 20TH CENTURY
IN SEARCH OF IDEAL POWER**
ESSAY

Irina I. Glebova — Doctor of Political Science; Head of the Center of Russian Studies, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN). E-mail: glebova.i.i@yandex.ru.

Abstract. The end of the 19th — beginning of the 20th century is a watershed moment for Russia. It was the era of “theomachy”, or getting rid of the former gods (authorities, restrictions, coercion and control), in politics, economy, science and culture. In this sense, the motto “Down with the autocracy!” is the political equivalent of the poets’ slogan “Throw Pushkin off the ship of Modernity”. Poets, like politicians, wanted to break out of the past by removing its linchpin — the tsar, the old power. Some intended to reestablish it, others — to rethink it. Politicians sought their ideal in “geography” (the political structure of advanced, democratic Europe), poets — in culture. And they found it in Peter the Great — the revolutionary on the throne, the demiurge of St Petersburg’s Russia. That cult, which was seemingly organic for that culture, concealed the expectations that can be politically deciphered as “the dictatorship of development”. It was Peter’s model of transformation (radical upheaval, a step from the past into the future, with the leader heading the process) that was adopted by the Russian culture as a normative. The revolution and the new (“October”) world, with its eulogy of the future, dictatorship, and cult of the leader, have become the answer to the questions of the beginning of the century and their test.

The article views revolution precisely as an experience (which, for all its intensity and tragic nature, has received insufficient reflection) that failed to

have any impact on the subsequent political practice. At the same time, although the main goal of the study is political in nature, the author draws on literary, mostly poetic sources, showing how revolutionary practice (not only at the start, but also at the end of the century) highlights the extent to which the “irresponsible chatter” of poets was truly reflective in political and moral respects.

Keywords: Modernity, theomachy, revolution, cult of Peter the Great, dictatorship, development, leaderism, creators, victims

References

- Benua A. (1908) “Otvét Filisofovu (po povodu stat’i Filisofova v „Zolotom rune“, 1908, no. 1)” [Answer to Filosofov (about Filosofov’s Article in the “Golden Fleece”, 1908, no. 1)] // *Zolotoe runo* [The Golden Fleece], no. 3–4: 99–103. (In Russ.)
- Benua A. (1917) “Peterburg ili Petrograd” [Petersburg or Petrograd] // *Rech’* [Speech], 25.03. (In Russ.)
- Buldakov V.P. (2018) “Revolutsija ili smuta, stabil’nost’ ili zastoj? K itogam stoletnikh nedoumenij” [Revolution or Unrest, Stability or Stagnation? Results of a Century of Bewilderments] // *Trudy po rossievedeniju* [Works on Russian Studies]. Issue 7. Moscow: INION RAN: 23–47. (In Russ.)
- Bykov D. (2007) *Boris Pasternak*. Moscow: Molodaja gvardija. URL: https://imwerden.de/pdf/bykov_pasternak_2007__ocr.pdf (accessed on 23.12.2021). (In Russ.)
- Dvornichenko F.Yu. (2018) *Proshchanie s revolutsiej* [Farewell to the Revolution]. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)
- Fitzpatrick S. (2017) “Celebrating (or Not) the Russian Revolution” // *Journal of Contemporary History*, vol. 52, no. 4: 816–831.
- Gaida F. (2003) *Liberal’naja oppozitsija na putjakh k vlasti (1914 – vesna 1917 g.)* [The Liberal Opposition on the Road to Power (1914 – Spring 1917)]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Habermas J. (2003) *Filosofskij diskurs o moderne* [Der Philosophische Diskurs der Moderne]. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)
- Kolonitskii B.I. (2017) *Tovarishch Kerenskij: Antimonarkhicheskaja revolutsija i formirovanie kul’ta “vozhdja naroda” (mart-ijun’ 1917 g.)* [Comrade Kerensky: The Revolution against the Monarchy and the Formation of the Cult of “The Leader of the People” (March-June 1917)]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)
- Lotman Yu.M. (1992) *Kul’tura i vzryv* [Culture and Explosion]. Moscow: Gnozis. URL: https://imwerden.de/pdf/lotman_kultura_i_vzryv_1992__ocr.pdf (accessed on 23.12.2021). (In Russ.)
- Mandelstam O. (1924) “Priboj u groba” [Surf at the Coffin] // *Na vakhte* [On Watch], 26.01. (In Russ.)
- Mints M.M. (2019) “Stoletie revolutsij 1917 g. i Rossijskaja istoricheskaja nauka (Obsor)” [Centenary of Revolutions of 1917 and Russian Historical Science (Review)] // *Rossievedenie: V poiskakh utrachennogo vremeni* [Russian

Studies: In Search of Lost Time]. Moscow: INION RAN: 180—209. URL: http://inion.ru/site/assets/files/5377/2019_snt_rossievedenie.pdf (accessed on 03.09.2021). (In Russ.)

Nabokov V. (1990) “Drugie berega” [Other Shores] // Nabokov V. *Terra incognita*. Moscow: DEM: 3—178. URL: https://imwerden.de/pdf/nabokov_terra_incognita_drugie_berega_zashchita_luzhina_1990__ocr.pdf (accessed on 23.12.2021). (In Russ.)

Naryshkin S. (2017) “Jubilej — povod dlja ser’eznoj raboty” [Anniversary Is an Occasion for Serious Work] // *Vorontsovo pole: Vestnik fonda “Istorija Otechestva”* [Vorontsovo Field: Bulletin of the History of the Fatherland Foundation], no. 1: 17—19. (In Russ.)

Pasternak B. (2004) *Temy i variatsii: Stikhotvorenija, roman v stikhakh* [Themes and Variations: Poems, a Novel in Verse]. St Petersburg: Azbuka-klassika. (In Russ.)

Pastukhov V. (2021) “„Stolypinskij galstuk“ vmesto „zubatovshchiny“. Gotov li Naval’nyj k novym pravilam igry?” [“Stolypin Tie” instead of “Zubatovshchina”. Is Navalny Ready for the New Rules of the Game?] // *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow], 17.01. URL: https://echo.msk.ru/blog/pastuhov_v/2775156-echo/ (accessed on 03.09.2021). (In Russ.)

Pivovarov Yu.S. (2018) “Metallicheskiy vsadnik” [Metal Rider] // *Trudy po rossievedeniju* [Works on Russian Studies]. Issue 7. Moscow: INION RAN: 257—261. (In Russ.)

Poshchecina obshchestvennomu vkusu [A Slap in the Face of Public Taste]. (1912) Moscow: Izdanie G.L.Kuzmina. (In Russ.)

Serebrjannyj vek: Pis’ma i stikhi [The Silver Age: Letters and Poems]. (2019) Moscow: AST. (In Russ.)